

Давно это было. Когда радостное, светлое детство бродило вместо меня по улицам этого города. Каждое утро было неожиданным, неповторимым. Мир был так велик, что не хватало никакого времени на познание его. Ночь уносила все проблемы, а утро приходило таким ярко-звонким, что хотелось бежать в него прямо из постели.

Летом все дети нашей улицы, как только совсем теплело, шли на реку. Она растила, воспитывала наши нравы, характеры, пугала родителей и радовала нас своей доступностью и понятностью. Окрестные сады были полны всяческих плодов, а отсутствие взрослого населения в дневное время гарантировало безнаказанность опустошения этих земных эдемов. Река поила, охлаждала наши тела, сады кормили нас своими плодами, а что еще нужно в детстве? В детстве, как никогда, хочется свободы, и те, у кого она в это время есть, в дальнейшем с радостью вспоминают время свободы и место, где она жила. Это время маленьких огорчений, которые заканчиваются сном, и больших радостей, ожидающих нас утром. Неправильно думать, что радость того времени, не совсем понятна, размыта самим временем. Нет. Радости эти (как светлы они в детстве!) вполне осязаемы, их можно потрогать, ощущение их вполне реально, и, что очень важно, помнятся счастливые моменты до конца жизни.

Был воскресный день, и мы, мальчишки, группой двинулись на базар. Не покупать, нет, а просто посмотреть на пестрое сборище людей, потолкаться в этой шумной толпе, поучаствовать в какой-то другой жизни, отличной от повседневной. Обойдя все ряды рынка, мы наткнулись на торговца резиной, которого мы все знали, потому как покупали у него резину на рогатки — оружие юности. Мы знали его как изрядного пьяницу, и теперь он тоже был пьян, но торговал не ре-

зиной и находился в пьяном состоянии более чем всегда. Продавал же он маленького ишачка, похожего на большого зайца, пушистого, как мох, которым обрастают валуны на реке. Стать обладателем живой игрушки, не задумываясь зачем, эта мысль приковала нас на месте. Продавец менял свой товар на бутылку «красного», и мы, не зная сколько это, замороженно смотрели на него, ожидая разъяснений. Взрослый люд, понимая всю несерьезность продажи, проходил мимо, но мы уйти просто не могли. Цена падала и дошла до цены пачки папирос. Собрали всю мелочь по карманам наших изодранных штанов, отдали продавцу и взамен получили настоящего ишачка, которого подарил нам случай. Один из мальчишек вынул из штанов новый ремень, привязал ишачка за шею, и мы повели его домой. По дороге стали думать, где же он будет жить, и начали понимать, что родители едва ли согласятся на такого постояльца, а без их ведома с устройством ишачка ничего не получится. Но все неожиданно утряслось само собой. По улице мимо нас на ишаке, запряженном в телегу, пронеслись цыгане. Из телеги раздался лихой свист, и наш ишачок, вырвавшись из рук вместе с новым ремнем, догнал телегу и, как показалось нам, сам запрыгнул в нее. Цыгане подхватили его и умчались своей цыганской дорогой. Мы оторопело смотрели им вслед. Миг какого-то желания коснулся наших рук и, вырвавшись, пропал, оставив тепло прикосновения, от которого замерли наши маленькие сердца. Пошли домой, не глядя друг на друга, потому что каждый считал себя виноватым в происшедшем. Так произошло наше знакомство с цыганами, таинственное, принесшее вместе с первым огорчением много интересного и волнующего в последующем времени.

Вечером, как обычно, мальчишки нашей улицы собрались за травой. В то время на подворьях держали много птицы, был скот и, конечно, кролики. Эти походы были продолжением нашего дневного общения, и мы, захватив сумки и мешки, устремились туда, где можно было говорить о вещах, которые никогда непонятны взрослым. Нельзя было сказать, что мы бездельничали днем, строгость наших отцов не позволяла этого, а отцы были у всех, так как рождены мы были уже после войны, в 50-х годах. Каждый из нас по утрам получал от родителей какое-нибудь задание, выполнял его, а потом уже шел на реку. Хорошо было иметь старших братьев, в смысле защищенности, но утром, после ухода отца, старшие братья обычно перекладывали свою работу на плечи младших. Поэтому каждый из нас появлялся на реке только после выполнения своих заданий.

Вечером же уходили за травой. Старшие братья дома помогали отцам, а мы наслаждались свободой. В этот день, утро которого принесло нам огорчение, собрались все участники злополучной покупки. Делили беду, подбадривая друг друга толчками, задирались, шутили.

Один из мальчишек предложил пойти на новое место, там, говорил он, травы полным-полно и все один клевер. Клевер был самый уважаемый кроликами продукт, и мы согласились туда пойти.

Городок в то время представлял несколько районов, отделенных друг от друга пустырями. Мы знали эти пустыри лучше городских кварталов. Пустыри, сплошь поросшие кустами терновника с дикими яблонями среди них, были нашим райским садом. Эдемом нашей свободы. Были еще и колхозные сады: яблоневого и грушевого, но их охраняли объездчики на конях, очень свирепые, как нам тогда казалось. Конечно, мы не раз бывали и там, в тех садах, но все же пустыри любили больше. Тут было светлее, множество красивых птиц распевали свои песни о высоком небе и его голубизне, обо всех наших мечтах, связанных с высотой и ее голубизной. Мечтать здесь было так вольно, воздух наполнял грудь свежей легкостью, и, кто видел, может быть, мы и вправду летали там тогда. Ведь никто не мог сказать обратного.

Дошли до пустыря, повернули направо, к горам. У самых предгорий начинались дома новостройки. Городок разрастался, но пока только частным порядком. Ближе к горам было еще пусто, зато травы и вправду росло много. Навалившись от души в пахучей прохладной траве, мы наполнили ею мешки и пошли домой. Дорога шла через сад.

Хочу добавить, что весь город тогда был садом. Частные сады жителей города сливались с колхозными садами и тянулись далеко в горы. Когда наступала весна и ближние горные склоны покрывались подснежниками, в каждом доме в стаканчиках стояли эти нежные цветы, самые юные из всех. Весна наступала настоящим праздником. Зацветали сады, и город тонул в красивейшем и благоухающем тумане. Чтобы лучше увидеть это буйство красок любви и юности, мы забирались на склоны ближних гор. Там можно было сидеть часами, оглядывая и слушая красоту. Представьте себе склон горы, уже покрытый молодой, зеленой травой с торчащими еще кое-где синими подснежниками, ласковое весеннее солнце, пучок прошлогодней сухой травы, на который можно присесть, а перед вами бушующее море юных красок, добавьте к этому музыку птичьих песен, окуните, окуните видимое в палитру своих мечтаний, облеките мелодией своей души и поймете, что перед вами то, для чего стоит жить на Земле. Ощущение прекрасного вращается в душу, остается в ней навсегда, вы ощущаете волнение в то время года, когда видели все это в первый раз, сколько бы времени ни прошло с тех пор. А значит, вы снова юны. Пусть на время, но юность и есть миг. И повторить в своей душе счастливые мгновения, значит, стать добрее и красивее.

Из-за деревьев начали поглядывать на нас сумерки. Хотелось есть. Можно было сорвать яблок, но их было уже не видно, а невидимое есть не хочется. Заторопились. Вышли к новостройке. Чуть в стороне между недостроенными домами был виден свет. Любопытство юности

сильней усталости, и мы решили посмотреть, что там происходит. Прошли между нежилыми домами и оказались прямо перед цыганским шатром.

Кто знает, откуда взялось слово «шатер», но оно прочно вошло в наш быт, как определение чего-то легкого, временного, цыганского. Можно сказать — палатка, но раз там цыгане, значит, шатер. Он состоял из сшитых между собой разноцветных лоскутов, натянутых на врытые в землю столбики. Неправильной формы, закрытый донизу лишь с одной стороны, с деревянным настилом внутри, он напоминал сцену временного цирка. На полу, в разных концах шатра и посередине вразброд сидели цыгане. Каждый из них чем-то занимался. Эта их жизнь до того была непохожа на нашу, что казалась игрой.

Поняв, что нас не замечают, мы присели на свои мешки, набитые травой, и стали наблюдать, совершенно потерявшись в непонятности, что могут делать люди ночью на улице. Наше внимание сразу привлек цыган, сидевший к нам вполоборота, прислонившись к столбику, державшему шатер. Ноги, обутые в сапоги, были положены одна на другую, темные шаровары и распахнутая светлая косоворотка, выпущенная на штаны, длинные, хорошо расчесанные волосы, гитара в руках и то, что он сидел у края помоста, создавало впечатление какого-то ожидания и временности. Все было каким-то непрочным, и казалось, что эти люди ждут какого-то звука, взмаха, чтобы превратиться в движение и исчезнуть вместе с шатром. Уплыть в пространство. Это видение вжало нас в мягкость мешков и заставило забыть время. Ведь временное это что-то несуществующее, или уже почти несуществующее. Такого в жизни у нас еще не бывало, потому-то мы и забыли о наших делах: о траве, о доме, о дороге к нему — на пути был цыганский табор. Вот и все.

Тихонько бренькавшие струны вдруг взорвались отчаянным перебором, тьма вздрогнула, сомкнулась, оставив светлым лишь шатер, цыган и звуки. Это была музыка самой природы, которая в ночи нашла светлое место и готовилась устроить здесь свой карнавал. Звуки лились сами собой, улетали, возвращались, как бы приглашая на этот праздник ночных обитателей земли. Их было уже во множестве. Различные мотыльки, мошкара, а между ними, разрезая тьму, носились летучие мыши, будто маленькие самолеты, которые доставляли ночных гостей. Они возникали из тьмы, делали пару кругов над сценой и уносились обратно. Не хватало только рева двигателей. В это музыкальное кружение вкрался голос: «Ах, ручеечек, ручеек, брал я воду на чаек, ромалэ лэ-ээй, чавалэ лэ». Что-то в природе зажурчало, громче, громче, расплескалось, но не гремя, а лаская.

Цыгане зашевелились. Они как-то незаметно подвигались к песне. Все живое собиралось вокруг нее. Плавно, плавно цыгане встали и пошли. Просто пошли, как идут задумавшиеся люди. Казалось, что

они вот-вот столкнутся меж собой, но взметнулись юбки, руки, хлопнули сапоги и цыгане разлетелись в стороны, как птицы в своих небесных танцах. Но вот, будто бы вспомнив о чем-то недоговоренном, они развернулись, и пошел перестук — разговор. Постепенно он перешел в шепот и то приближался, то отдалялся, взлетал вверх и ударялся о купол шатра. Тот мелко дрожал, как дрожит от шепота тишина. Эта дрожь передавалась нам: «Ручеечек, ручеек, ах, брал я воду на чаек...»

Вдруг цыганки взяли в круг одну девушку, более светлую, чем они, затряслись, запрокидывая головы, может, ругая ее, а может, обожествляя. Цыгане встали поодаль, легонько перестукивая каблуками. А песня все лилась, сильнее, громче, шире, как и положено растущему ручейку.

Ночью мне снились ярко-красные цыгане, они плыли в своем шатре по реке, а мы бросали им большие красные яблоки. Те не долетали до шатра, падали в воду, обращались в цыган и ярко-красным пламенем полыхали на воде.

Вы когда-нибудь видели счастье? Нет. И никто не видел. Оно невидимо. Что-то коснется нас, мы вздрогнем и долго-долго неподвижным взглядом смотрим вслед улетающему прикосновению. Что было в нем, какая неведомая доселе сила заворожила мгновение? Откуда несется и куда уносится это касание, к освобождению, или в плен? Трепет счастья невидим. Но как звенит от него мир! Долго-долго, как тронутая в задумчивости струна.

Утро принесло новые заботы. Самая серьезная — это постройка новой запруды. Ночью река взбушевалась, и все наши прежние каменные постройки были сметены «шугой». Когда долго стоит жара, то тают на вершинах гор ледники и поднимается вода, а вверху, на ГЭС, открывают шлюзы, во избежание повреждений. Вырвавшись на волю, вода набрасывается на преграды, и все непрочные конструкции исчезают. Хорошо, когда «шуга» проходит ночью, днем детвора едва успевала выбежать на высокий берег реки, хотя шум приближающейся большой воды был слышен далеко. Просто ждали до последнего, чтобы потом, с высоты, смотреть, как мутный поток ворочает камни на том месте, где ты недавно стоял.

Строительство запруды велось просто. Камни укладывались друг на друга, между ними прокладывали пучки молочая. Младшие рвали растения, старшие ребята ворочали камни, чистили дно. Купаться в построенном пруду мог только тот, кто принимал участие в строительстве. Таков был закон реки. Уважительные причины не признавались. Не попавшие на строительство до следующей «шуги» купались вне пруда.

Конечно же, мы рассказали всем нашим ребятам про встречу с цыганами. Перебивали друг друга. Каждому казалось, что только он мо-

жет правильно описать увиденное. Мы еще не могли передать чувства, и потому они не вмещались в слова. После долгих повторений наших рассказов решили вечером пойти к цыганам вместе со всеми, желающими посмотреть. Увидеть то, что так трудно было нам сообщить в полноте. Чем больше мы рассказывали, тем меньше нам верили, так как наши юные слова еще не обрели впечатляющих красок, а ведь так хотелось поделиться этим теплым туманом виденного тогда. Чистые краски лишь начало рассказа, а вот умение смешать их в нужных пропорциях — начало искусства. Вот и сидели мы на камнях, у начала всех начал, и пытались доказать себе и другим, что в мире есть невидимое.

Дождавшись вечернего часа, взяв мешки, большой группой двинулись за травой. Вечером ребята становились не похожи на себя, одежда меняла привычный вид. Вечером у гор очень прохладно, в дневной форме не погуляешь. Стесненные одеждой, сами себе казались чужими. Но по дороге угловатость движений прошла, и наши языки развязались. Боялись только, что цыгане уехали. Кто-то говорил, что они воруют детей и оставляют жить у себя. Все вместе мы были бы согласны пожить у цыган, но вот поодиночке — страшновато. Вопросы, где спят и что едят цыгане, оставались без ответа. Решили, что едят они что-то цыганское, а вот где спят, было неясно. Не на улице же?

У нас на улице жил мальчишка, по кличке Солома, так он частенько сбегал из дома, строил себе на берегу реки шалаш и там обитал, а мы носили ему еду — самую хорошую, какую находили дома, потому как жалели его. Он казался героем. Еще бы, ночью жил один в шалаше. Но однажды его геройство было постыдно развенчано. Солома проспал утром дома и не успел к завтраку, который мы принесли ему в шалаш. Под нашими хмурыми взглядами он сознался, что ночует дома, а утром бежит в шалаш. Был бит с запретом появляться на реке. Жалели не еду, а утраченных мыслей о нем как о герое. Потому мы и не верили, что на улице можно ночевать.

К цыганам было рано. Почему мы так считали, не знаю, видимо, думали, что все загадочное происходит в сумерках. Нарвали яблоч, теперь лежали головами на мешках с травой и смотрели, как медленно, нехотя сжигало верхушки тополей заходящее солнце. Высоко над нами полыхали вершины гор. Это добрые великаны зажигали в своих замках свет, чтобы приготовиться ко сну. Дрема травинками покалывала тело и красным туманом заглядывала в глаза.

В этот вечер нам не суждено было встретиться с цыганами. Уже повернув к шатру, встретились с местными ребятами. Кто помнит свое детство, тот знает, что такая встреча не сулит ничего хорошего. Здесь свои правила и, главное, нужно с достоинством ретироваться. Дипломатия на таких встречах проста, как куриное яйцо. Скорее, не проста, а привычна. Драка возникает редко, но воздух дрожит ее ожиданием.

Взаимные упреки и обиды высказываются обеими сторонами, и исход встречи зависит от равновесия нанесенных ранее взаимных обид. Обмениваются словами двое авторитетных ребят, остальные наготове. Смыться — значит навсегда вычеркнуть себя из уличной жизни, окружить себя презрением. Быть побитым не значит опозориться. Закончить драку без побоев — вроде как получить ранение в спину.

На этот раз все обошлось благополучно, но к шатру нас не пустили. Назавтра была назначена новая встреча на пустыре для решения спорных проблем. Уходили, дрожа от сброшенного напряжения, освободившись от тяжести ожидания, и эта дрожь подпрыгивала внутри каждого из нас, kloкотала неиспользованная энергия. Стучали зубы, и слова проскакивали сквозь этот стук оправданием непонятно чего. Мирный исход трудно было объяснить, и неиспользованную энергию изливали в словах.

На следующий день сошлись на пустыре. Условия новостроевцев: мы пускаем их купаться в наших прудах, они нас пускают через свою территорию за травой. Мы могли рвать и в другом месте, но цыган там не было. Они тоже могли купаться ниже по реке, но она в тех местах разливалась по широкому руслу и хороший, глубокий пруд там построить было нельзя. У них в районе была еще одна речка, но та протекала по земляному грунту и потому вода в ней была грязная.

В то время, о котором я рассказываю, наша река была не только местом для купания. Отсюда для питья и для других нужд брали воду, имевшую голубой цвет, в ней, как и в небе, плавали облака. По субботам женщины полоскали в реке стираное белье. Этот день был самым запыленным, а ближе к вечеру начинали топить бани. Дым плотно окутывал город уютным теплом. Сквозь него в окнах горел усталый свет, пророча людям избавление от многих еженедельных забот. В воскресные дни у всех был выходной. Еще никто не болел показухой, когда всю неделю спят, а в воскресенье начинают заводить пилораму, не давая покоя окружающим. Люди просто трудились и просто отдыхали. С утра все шли на базар, возвращались с покупками, радовали этим детей, себя, ни от кого ничего не скрывали. Жили на виду, неясностей не было. Мы, дети, росли без излишней ласки, но всегда чувствовали заботу, и даже наказания не казались нам несправедливыми. Патриархальность семейного быта была незыблема, и будущее эмансипированное поколение девчонок опасно жалось к своим заборам, завидев юных представителей противоположного пола. Девчонки исполняли работу внутри дома, на дворе всегда находилась работа для мужчин. Голубая вода плескалась в ведрах утренней прохладой, чем-то звонким тебе, поднимающемуся с ведрами по крутому берегу, улыбалось солнце. Сверкала умытая росой утренняя зелень, и мягкими, белыми облаками проплывало над головой время.

В жизни две небылицы. Одна детская — о том, что взрослым все дозволено. Другая — выдумка взрослых, что детство неразумно. Детвора, созрев, понимают несостоятельность своих мечтаний и потому перестают верить в разумность малолетства. Одолеть это разочарование невозможно, оно как невидимая трагическая линия разделяет раннюю пору и взрослость. Что такое жизнь зрелых людей — тема дискуссий. Детство же понятно лишь в свое время. Оно неразумно,— это полет, с высоты которого виден мир таким, каков он есть. Только оттуда, с этой высоты, видна доброта Земли и всего, что есть на Земле. Чем человек старше, тем его полет становится ниже, крылья мечты уже не так легки, чтобы поднять ввысь тяжелеющее бремя забот. Приземление неожиданно и не так понятно, как бы хотелось. Только мечтатели продолжают свой полет разумом ранних лет, неприятием взрослости. Их любят дети, окружающие считают чудачками, но завидуют их продолжающемуся полету. И что сделаешь, если память уносит вас ввысь и парит над местами, где маленькие люди добры и доверчивы, над особенным местом, где жизнь была разумна своим единственным желанием стать огромной. Огромной, как мечта, несущая свободу.

Открываются ставни окон, и голубой рассвет выпрямляет углы стен, предметов, раздвигает пространство комнаты. Мгновенно исчезают сновидения, и только темная полоска приоткрытой дверки шкафа дрожит от их вторжения. Ночью прошел дождь, и улыбки умытых им листьев заглядывают в окна. После дождя утренний свет становится сиянием. Деревья отряхиваются от холодных капель, и маленькие радуги вспыхивают меж ветвей, как удивительные украшения. Утро не ярко, оно звонко. Сияет и звенит все окружающее вас. Мокрая трава переливается под солнцем, кажется ненастоящей, остекленевшей, будто из сказки о замороженном царстве.

Вот река. Она течет далеко вниз своим руслом, промытым бурными, часто меняющими свое направление потоками воды. На склонах глубокого русла реки давно поселились в своих домах люди, и только «шуга» пугает их жарким летом, когда раскаляются под горячим солнцем спины речных камней, а снег лавинами сходит с горных склонов, тает, наполняя реку ликующим восторгом силы. Эта безудержная, дикая сила подмывает берега, грозит заполнить водой свои бывшие владения. В такие дни по вечерам на берег реки выходят люди и молча смотрят с крутого берега на взбешенную воду, слушают грохот перекатываемых камней. Что-то кричат друг другу, но грохот реки перекрывает все звуки, уносит их за собой. Старожилы города еще помнят наводнения, когда река выходила из берегов, сносила единственный мост, выносила на улицы огромные камни, которые рассыпаны по берегу до сей поры. Но за долгое время своих летних безумий вода промыла огромное, глубокое речное русло, из которого теперь ей не уда-

ется вырваться. Она ревет, красивая и сильная, но уже не такая страшная для людей в глубине своей прочной природной ограда.

Бывало, что «шуга» бушевала неделю, а то и больше. В такие дни мальчишки слонялись по берегу реки, не обращая внимания на предупреждения взрослых. Нрав своей реки мы знали лучше всех, да и какой дурак полезет в такую воду, если увесистый камень, брошенный в ревущий поток, начинал грохотать о дно метров через 30—50 вниз по течению. Так что мысли были вполне безопасны для нас. Сады в такие дни не привлекали, яблоки во множестве росли и спели в своем саду у каждого. Река была нашим прибежищем. Дом был затоплен, и нести добычу нам было некуда.

Вечер приносил удивительные минуты наших встреч с тайной, из-за которых мы торопили день. Теперь уже все пацаны в округе знали о цыганах и не раз бывали на «концертах». Увлечение стало массовым, как кино. Кино в то время было вперемежку — немое и звуковое. Немое — это Чарли Чаплин, звуковое — от «Чапаева» до «Фанфан-Тюльпан». Первыми фильмами мы жили, назначение последнего понимали слабо, но ходили на все. Мальчишек пускали бесплатно, с местами на полу. Кинопрокат того времени работал над зрительной памятью публики с аккуратностью педанта. Одни и те же фильмы показывали неделями. Запоминалось каждое слово, каждое движение героев, да и негероев тоже. Импровизированные театры памяти возникали днем с нашим участием на полянах, на прудах. Говорили словами героев фильмов, двигались движениями Чарли Чаплина, а потом вновь шли в кино, жалели чудака Чарли и не хотели, чтобы тонул Чапаев.

Цыгане, сколько бы мы ни смотрели их жизнь, песни, танцы, не запоминались. Ни движения, ни звука, увиденного и услышанного у шатра, никто из нас не мог повторить. Вроде все было просто, но начинали вспоминать, и получался хаос. Содержание звуков, движений понималось, но законченности в нашем подражании эти формы не обретали. Это было хаотичное движение фантазии природы, не имеющее окончания. Воссоздать можно только завершенное действие. Закончить что-то бесконечное — значит оборвать. Но мы могли еще только продолжать и, продолжая, боялись что-нибудь прервать.

Цыганская семья разрасталась. Видимо, приезжали откуда-то. Днем цыгане суетились в близлежащих, наспех построенных домах, но по вечерам собирались к шатру. Шатер был их отчим краем, все остальное — путь к ней. Где цыганская родина? Куда только не уносила нас фантазия нашего детства! Были острова, где живут только птицы и цыгане, в сущности своей тоже птицы. Была даже целая планета, цыганская планета, какая-то очень далекая, но обязательно разноцветная.

Почему она должна быть разноцветной, яркой, мы не знали, но спорили из-за этого отчаянно.

В этих наших юных наблюдениях нас поддерживала бесконечная доброта природы, краски ее благодушия — для любого желающего видеть эту добрую красоту. И наши чувства трепетали от этой живой красоты.

Планета детских снов. Близкая и в то же время, далекая. Знакомые лица, события, места, подхваченные мечтою, уносятся песней, слышанной где-то, но, может быть, еще не спетой. Утренний свет долго-долго дрожит, возвращая нас к действительности.

Планета мечты существует всегда. На ней собирается все лучшее, виденное и выдуманное. Там живут и река, и сады, и друзья. Главное, что там можно все это объединить и, не смешивая, соединить с собою.

Наступила осень. Еще не желтыми листьями, а началом школьных занятий. Фантастическую свободу постижения сменило познание реального мира, остановленного гениями в словах, знаках, заключенного в книгах любимых и не очень. Время в своем движении как бы разделилось. Невыносимо долгое время занятий в школе, и быстро исчезающий остаток дня вне их. Запакованные в новые одежды, порой одинаковые, мы при встрече даже стеснялись друг друга и разговаривать стали иначе, серьезней, что ли.

Лето, цыгане — все это казалось теперь нереальным и даже не прошлым, а еще не сбывшимся. Так бывает, когда заканчивается пространство любимого, дорогого, но расставаться не хочется и представляется все это будущим. А оно всегда создается нами из прошлого. Из чего же еще можно создать его, больше ведь ничего не было. Хорошо, когда нужно до чего-нибудь дожить.

Густел натруженный день. Сумерки останавливали движение предметов, приглашая ко сну. Осенью затихали мальчишеские распри, многие ходили в одну школу, да и спорить было не о чем. Мы давно собирались сходить к цыганам, но не хватало времени. И вот сегодня мы отправились туда. Посмотреть немного, и назад. Дома на новостройке стали настоящими и теплели светом окон навстречу нам. Поворот, еще поворот. Сумрак дрожал, ослепленный горящими окнами он никак не мог собрать вместе свои частицы, чтобы стать темной. И вот мы в растерянности стоим на пустом месте. Ни шатра, ни цыган, и только трава, выросшая под помостом, темнела в сумерках растянутым прямоугольником. Пустота еще не совсем освоилась здесь, и призрак шатра блуждал в ее пространстве. Призрак нашего ожидания не хотел мириться с утратой и воссоздавал потерянное нечетким видением в нашем воображении. Потом стало пусто и темно. Мы долго стояли перед исчезнувшим временем, на которое стали взрослее.